

Сундук
на
Колокольной

Чурилов М. В.

Несколько мгновений одной жизни

Максим Чурилов

**Несколько мгновений
одной жизни - Том 3.
Сундук на Колокольной**

«Автор»

2026

Чурилов М. В.

Несколько мгновений одной жизни - Том 3. Сундук на Колокольной / М. В. Чурилов — «Автор», 2026 — (Несколько мгновений одной жизни)

В маленькой лавке на Колокольной улице Павел Волконский хранит не только книги. Через его руки проходят чужие тетради, письма и дневники — следы людей, которые боялись исчезнуть бесследно. Но однажды память перестаёт быть чужой: телеграмма возвращает Павла в родовое имение, к умирающему отцу, к молчанию детства и к словам, которые слишком долго не были сказаны. Третий том трилогии о памяти, семье и времени. Это история книжной лавки, прошедшей через любовь, революцию, войну, блокаду и старость; обычная история обычного человека, проживающего свою жизнь. Для читателей, которым близка глубокая психологическая и историческая проза о семье, книгах, наследии и человеческом голосе, переживающем эпохи.

© Чурилов М. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Лавка среди снегопада	5
Глава 1. Телеграмма	8
Глава 2. Дом детства	11
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Максим Чурилов

Несколько мгновений одной жизни

- Том 3. Сундук на Колокольной

Пролог. Лавка среди снегопада

Снег шёл без ветра, без злобы, без праздничной ленцы — так ровно и густо, будто над городом распустили бесконечную белую пряжу. К полудню Колокольная улица стала тесным коридором между сугробами. Крыши утонули в пухлой ватной тишине, вывески ослепли, фонари горели даже днём, но свет их не пробивал снег, а только желтел в нём, как старое масло в мутном стекле.

Павел удерживал дверь лавки обеими руками. Нижний край её, поведённый сыростью ещё весной, упирался в порог и всякий раз отвечал коротким скрипом — по-человечески жалобным. Он притянул створку, закинул крючок, постоял, слушая, как улица за дверью гложет, и лишь потом снял пальто. Снег с шапки осыпался на половик тёмными крупинками; через минуту они превратились в воду.

В лавке пахло тем, чем пахнут места, пережившие своих хозяев: бумагой, клеем, пылью, чуть прелой кожей старых переплётов, железом печной заслонки. Всё будто оставалось прежним. Полки вдоль стен тянулись теми же строгими рядами; два шкафа со стеклянными дверцами стерегли редкие издания; длинный стол в середине был завален привычным хозяйственным беспорядком — стопками книг, ножом для разрезания страниц, клочками с пометами: «спросить цену», «отложить гимназии», «вернуть владельцу». Даже печка гудела тем же хрипловатым басом.

Но прежним это место уже не было. Павел понял это без рассуждений, как узнают перемену в голосе близкого человека: ещё те же слова, а дыхание другое.

На правом краю стола лежали три тетради. Они не бросались в глаза, не требовали почёта, не были красивы; две — чужие, одна — его собственная, ещё пустая. И всё же вокруг них теперь, как вокруг тяжёлого невидимого маятника, двигалось всё остальное.

Первая — тонкая, плохо сшитая, с историей юноши, спускавшегося в туманном городе по лестнице, которой не было конца. Павел нашёл её когда-то на чердаке дома в конце улицы, среди тряпья и мышинной трухи. Вторая — толстая конторская книга Семёна Игнатьевича Клеткина, моряка, который записывал не бури и не расстояния, а имена людей, унесённых морем или оставленных на берегу. Третья — ученическая тетрадь Павла, купленная без всякой торжественности, но открытая в тот день, когда после смерти отца он вернулся из имения уже не тем человеком, каким уезжал.

Он сел к столу. Снег за окном не шёл — работал. Он заваливал мостовую, уравнивал ступени и колеи, стирал следы прохожих прежде, чем те успевали оглянуться. В такой снег город казался не местом, а памятью о месте; всё реальное пряталось на расстоянии вытянутой руки.

Павел потянул к себе конторскую книгу. Наугад раскрыл страницу и прочитал строку, которую уже знал наизусть: «Записывать надо не волны и ветер, а тех, кого они забирают». Раньше эти слова принадлежали морю. Теперь они принадлежали и ему. В имении, у постели отца, он впервые увидел, как человек, всю жизнь казавшийся каменным, в конце становится не слабее, а явственнее: остаётся не должность, не фамильная власть, не голос приказа, а страх, вина, несколько непроговорённых нежностей, спрятанных в ящиках письменного стола.

Он закрыл книгу и положил ладонь на свою тетрадь. Бумага была чиста до дерзости. Белизна её не утешала — она требовала.

Павел вывел сверху: «Лавка среди снегопада». Почерк в первой строке вышел слишком крупным, ученическим. Он хотел зачеркнуть, но не зачеркнул. Название оказалось точнее, чем ему сперва показалось. Снегопад — это когда мир лишается очертаний. Лавка — точка, где очертания ещё можно сберечь: стол, лампа, жар печки, книга, раскрытая на нужной странице, и человек, который наконец понимает, что хранить — значит отвечать.

Он долго не мог начать. С чего? С детства среди этих полок, где он раньше учился различать издания не по названиям, а по запаху бумаги и осторожности набора? С отца, который умирал в родовом доме и в последние дни оказался ближе, чем за все годы силы? С первой тетради, найденной среди пыли, или со второй, принесённой вместе с чужой библиотекой на комиссию? Всё было началом, и потому каждое начало казалось ложью.

Наконец он написал: «Сначала была тетрадь юноши в тумане. Потом — книга моряка. Теперь — эта лавка. Я не искал их; они сами пришли ко мне. Значит, мало беречь. Надо ответить».

Слово «ответить» задержало его руку. В ремесле букиниста было удобно думать, что книги только проходят через тебя: пришли, лежали, ушли дальше; твоё дело — не дать им отсыреть, рассыпаться, потеряться в счётах. Лавка казалась перевалочным двором между чужим прошлым и чужим будущим. Но две тетради изменили это представление. Они были написаны не для славы, не для покупателей, даже, может быть, не для читателя. Они были последним усилием людей не исчезнуть целиком. И если такая вещь попадала к тебе в руки, ты уже не мог оставаться сторожем у склада.

Павел встал и прошёл вдоль полок. Книги смотрели на него корешками — ровно, молча, терпеливо. Большинство из них знало свою судьбу заранее: типография, тираж, цена, рецензия, место в каталоге. А рукописные тетради жили иначе: «если кто-нибудь найдёт». Между этим уверенным «для всех» и слабым «если» открылась та область, ради которой, как ему теперь казалось, и существовала его лавка.

За стеклом, в белой мутной глубине, промелькнули две детские фигуры; мальчишки бежали, прижимая к бокам книги, и смеялись беззвучно, потому что снег съедал звук прежде, чем он долетал до окна. Старик тянул санки с дровами. Женщина, поскользнувшись, выругалась, но тут же перекрестилась — то ли от испуга, то ли от привычки. У каждого из них была жизнь, которую никто, вероятно, не запишет. Эта мысль раньше показалась бы Павлу обычной и пустой. Теперь она ранила.

Он вернулся к столу и продолжил уже без украшения, сухим, деловым тоном: «Осенью я вернулся в город после смерти отца. В лавке была та же пыль, те же полки, но я увидел их иначе. Две чужие книги научили меня тому, чему не учат печатные тома: человек исчезает не тогда, когда умирает, а когда некому назвать его по имени».

Писалось медленно, но не мучительно. Он не пытался быть красивым; красота, если она нужна, сама возникает там, где фраза не лжёт. Он впервые понял, что чужая жизнь не требует от рассказчика позолоты. Ей достаточно точной руки.

Когда стемнело, лавка сжалась в круг лампы. Снег за окном стал чёрным полотном, на котором дрожали жёлтые пятна соседских окон. В одном окне женщина развешивала детские пелёнки; в другом старик водил пальцем по газетной строке; в третьем подросток рисовал углём, прижав лист к стеклу. Никто из них не знал, что в маленькой лавке напротив человек начинает свою книгу времени. И, может быть, именно это незнание делало работу честной.

Павел писал до семи. Потом закрыл тетрадь, положил на неё карандаш, будто прижал лёгкую крышку к только что начатому сосуду, и оглядел лавку. Впервые за долгие годы он ждал не выгодной покупки, не редкого клиента, не праздника. Он ждал завтрашнего дня — чистого листа, который уже не пугал.

У двери табличка «Закрето» качнулась от сквозняка и стихла. За ней город шептал снегом. Внутри молчали книги. Но молчание это больше не было пустотой: в нём уже слышалось обещание. Истории продолжаютс — в тетрадях, найденных на чердаках; в конторских книгах, спасённых от распродажи; в собственной руке, решившейся наконец писать. И в маленькой лавке на Колокольной, где Павел Волконский, когда-то считавший город только местом работы, впервые понял: дом — это не стены, к которым возвращаешься, а место, где ты перестаёшь уклоняться от памяти.

Глава 1. Телеграмма

Телеграмма пришла в тот час, когда лавка обычно дремала. За окнами стояло позднее осеннее петербургское безвременье: не дождь уже, а водяная пыль; не туман, а серая усталость воздуха. Булыжник блестел, небо висело низко, прохожие шли, втянув головы в воротники, и город казался плохо выжатой тряпкой, в которой ещё оставалась чужая холодная вода.

У прилавка мялся студент. Худой, длиннопалый, в пальто с вытертыми локтями, он выбирал книгу по философии и держал её так, словно том мог обидеться на его бедность. В другой руке у него позванивали медяки. Павел показывал ему два издания: одно — старее, но в крепком переплёте; другое — свежее, зато с разбитым корешком. Он говорил привычно, не повышая голоса, и сам слышал, как слова проходят мимо него. В такие часы мысли легко отцеплялись от лавки: уходили к тетрадам в ящике стола, к вчерашней беседе с переплётчиком, к странной тишине, которая наступает после слишком долгого чтения чужих судеб.

Дверь распахнулась резко. В лавку вошёл почтальон — тяжёлый, мокрый, с фуражкой на затылке и усами, потемневшими от дождя. Вошёл не как посетитель, а как человек, имеющий право нарушить любой порядок.

— Волконский здесь? — спросил он.

Студент сразу отступил к полкам. Павел выпрямился.

— Я.

Почтальон вытащил из внутреннего кармана бланк, сложенный вдвое. Бумага была плотная, казённая, холодная даже на вид.

— Срочная. Распишитесь.

Павел расписался в почтовой книжке, не прочитав ни строки. Почтальон забрал книжку, кивнул и вышел так же равнодушно, как вошёл. Он принёс беду и не имел к ней отношения.

Студент понял это быстрее самого Павла. Он сунул на прилавок монеты, взял ближайшую книгу — кажется, совсем не ту, за которую торговался, — и пробормотал:

— Я потом зайду.

Дверь закрылась. В лавке осталась телеграмма.

Павел не сразу развернул её. Он смотрел на полки, на прилавок, на печь с красноватой щелью в заслонке. Всё стояло на месте, и именно эта неподвижность была невыносима: мир ещё не знал, что должен измениться, а бумага в руке уже знала.

Он раскрыл бланк. Чёрные слова были отбиты грубо, без знаков милосердия:

«Отец в тяжёлом состоянии. Просим немедленно приехать. Управляющий имения Волконских».

Дальше Павел не читал. Достаточно было первых двух слов. Отец. Тяжёлое.

Он сел за стол и положил телеграмму перед собой. Сначала не было ни горя, ни страха — только пустое место, куда чувство ещё не успело прийти. Потом в эту пустоту вошла рассудочная, сухая мысль: старость не бывает неожиданной. За ней — другая, хуже: они не виделись так давно, что счёт годам потерял стыд. Пять? семь? Письма между ними ходили редко и словно принадлежали не людям, а учреждениям. Управляющий сообщал об урожае, адвокат — о бумагах, отец, если и писал, то чужой рукой. Павел отвечал коротко, избегая любого слова, способного открыть настоящую дверь.

Он выбрал город. Отец остался в имении. Он выбрал лавку; отец ждал земли, хозяйства, продолжения фамильного порядка. Между ними не было громкого разрыва — хуже: было молчание, удобное обоим и губительное для обоих. Теперь телеграмма это молчание перечёркивала. Не спрашивала, готов ли он. Ставила срок.

Павел поднялся. Сначала перевернул табличку на двери: «Закрето». Потом вывел на листке: «По семейным обстоятельствам буду отсутствовать несколько дней. Заказы и закладки

записаны в тетради на столе». Прикрепил записку к стеклу старой кнопкой и почувствовал, что извиняется не перед покупателями, а перед лавкой, перед книгами, которым придётся молчать без него.

В ящике стола лежали три тетради: юноша в тумане, моряк с его именами, дневник переплётчика. Павел провёл пальцами по корешкам и подумал: «Вы довели меня до этого». В мысли не было упрёка. Скорее — признание. Чужие записи о смерти, памяти и возвращении всё это время готовили его к собственной строке, только он не хотел читать её вслух.

Он не взял тетради с собой. Они принадлежали лавке. В имении ждала другая книга — не написанная, но тяжёлая: книга детства, непрощённых обедов, закрытых дверей, отцовского кабинета, где пахло табаком и сургучом.

Сборы заняли меньше часа. В старый кожаный чемодан Павел положил бельё, тёплый свитер, дорожные деньги и чистую тетрадь. На мгновение рука потянулась к полке — взять томик стихов, тонкую книжку на дорогу, спасительную чужую речь. Он остановился. В поезде надо будет не читать. Надо будет смотреть в окно и не отворачиваться от себя.

Улица встретила его сыростью и шумом. Трамвай скрежетал по мокрым рельсам, извозчик дремал, укрывшись тулупом, у церкви торговали жареными каштанами. Их дым, сладкий и тёплый, на миг заслонил запах мокрого камня. Город продолжал жить, не замечая, что у одного человека в кармане лежит маленькая бумага, способная перевесить все привычные маршруты.

На вокзал Павел приехал рано. Зал ожидания гудел: носильщики ругались из-за тюков, женщины укачивали детей, корабейники выкрикивали пирожки и газеты, солдаты курили у двери, оставляя под ногами серые крошки пепла. Среди этого беспорядка его беда стала меньше — не легче, нет, только заняла своё место в общем человеческом движении. У каждого здесь была дорога, у многих — телеграмма, письмо, болезнь, похороны или надежда, о которой нельзя говорить вслух.

Он сел в углу, поставил чемодан у ног и достал бланк. «Тяжёлое состояние» могло означать всё: день, неделю, месяц. «Немедленно» могло быть и просьбой, и приказом, и последней попыткой. Подпись управляющего означала главное: отец уже не мог написать сам.

Поезд подали к вечеру. Вагон третьего класса пах смолой, мокрой одеждой и дешёвым мылом. В купе сидели трое. Купец с тусклым, отёкшим лицом перебирал бумаги в клеёнчатой папке. Молодая женщина держала младенца, и вся её усталость собралась в одном движении — она покачивала ребёнка даже тогда, когда глаза её закрывались. У окна сидел отставной офицер в старой шинели; осанка у него была такой, будто служба продолжалась внутри костей.

Павел устроился напротив. Поезд тронулся с натужным рывком. Городские огни поплыли назад, потом растворились; за стеклом остались тьма, редкие фонари полустанков и собственное отражение — лицо, которое казалось ему старше, чем утром.

Он достал листок и написал несколько строк, чтобы не дать мыслям расплзтись: «Отец болен. Мы не говорили много лет. Я уехал, он остался. Я читаю чужие истории о сыновьях и отцах, но свою не знаю».

Ниже рука сама вывела: «Чего я боюсь?»

Ответ не пришёл сразу. Он боялся увидеть отца слабым. Боялся упрёка. Боялся, что старая обида окажется живее жалости. Но глубже всего был другой страх — опоздать. Войти в дом и узнать, что всё уже кончено; что слова, которые годами казались ненужными, теперь некуда положить.

Ночью он не спал. Купец храпел, уткнувшись в воротник. Женщина задремала и всё равно продолжала качать ребёнка — рука её не знала отдыха. Офицер смотрел в окно, будто там, в чёрном стекле, шёл смотр его прежней жизни.

Павел смотрел на мать с младенцем и чувствовал неприятную, стыдную зависть к этой простой непрерывности тепла. В их доме любовь не умела быть жестом. Она пряталась в обязанностях, в молчаливых заботах, в деньгах на обучение, в запретах, которые отец называл бла-

горазумием. Возможно, это тоже была любовь. Но ребёнку она казалась холодной, как серебряная ложка на длинном обеденном столе.

Память поднялась сама: коридоры родового дома, в которых нельзя бегать; кабинет отца, где бумаги лежали ровными стопками, а голос звучал ниже, чем нужно; мать, умершая слишком рано и оставившая после себя запах лаванды, несколько писем и тёплое пятно в памяти, которое с годами не становилось яснее. Потом — его отъезд. Не побег, говорил он себе тогда. Выбор. Но выбор, совершённый с такой яростью, всегда похож на бегство.

Под утро поля за окном посерели. Туман лежал в низинах, как забытая вода. Павел достал из кармана старый листок со словами переплётчика: «Дом — это куда вечером ноги сами идут». В городе ноги действительно сами несли его на Колокольную. Теперь поезд вёз его туда, откуда он столько лет отучал себя возвращаться.

Может быть, дом не один, подумал он. Может быть, дом — это всякий раз то место, где тебе приходится отвечать за себя прежнего.

На маленькой станции его ждал управляющий Петрович — с шапкой в руках, с лицом, обветренным и виноватым. Лошади фыркали, над бричкой поднимался пар.

— Здравствуйте, Павел Андреевич. Простите, что вызвали так...

— Как он?

Петрович помял шапку сильнее.

— Плохо. Сердце. Доктор говорит — слабое совсем. Бывает, очнётся, спрашивает про вас. Каждый день спрашивал: приедет ли? успеет ли?

Павел молча сел в бричку. Дорога к имению была разбита дождями. Колёса вязли, лошади шли медленно, и каждая кочка возвращала то, что он хотел считать забытым: берёзу у поворота, на которой мальчиком считал ворон; холм, с которого зимой летели на санях; обочину, по которой он однажды шёл пешком после ссоры, отвернувшись от отца, остановившего экипаж.

Аллея старых лип показалась сквозь туман. За ней — крыша дома, церковный шпиль, облупленные колонны, крыльцо с просевшими ступенями. Всё было знакомо с жестокостью сна: не изменилось настолько, чтобы стать чужим, и постарело настолько, чтобы не простить отсутствия.

Павел вышел из брички. Телеграмма в кармане перестала быть бумажкой; она стала дверью, за которой лежал живой, больной, испуганный, может быть, всё ещё властный человек — не символ, не обида, не отец из детских воспоминаний, а старик, ждавший сына.

Он поднялся по ступеням: раз, два, три, четыре. Вдохнул запах мокрой земли и старого дома. И толкнул тяжёлую дверь.

Глава 2. Дом детства

В передней пахло старым домом: деревом, которое за долгую жизнь впитало дым печей, сырость осенних сапог, лаванду из давно высохших мешочков, мышинный страх в стенах и человеческое молчание. Этот запах не встретил Павла — ударил. Он задержал дыхание, как задерживают его перед холодной водой, и в ту же секунду понял, что возвращение начинается не с лица отца, не с слов тётки, не с бумаг, которые ещё только предстояло прочесть, а с этого тяжёлого воздуха, где всё, казалось, знало о нём больше, чем он сам хотел помнить.

Он снял перчатки и остановился у порога. Передняя была полутёмной; высокое окно над дверью пропускало мутный, осенний свет, и в нём плавали пылинки, медленные, будто старческие мысли. На стене висели кованые крючья. В детстве Павел различал по ним времена года: зимой — отцовская шуба с барашковым воротником; осенью — охотничий плащ, пахнувший псиной, порохом и мокрым лесом; по праздникам — тяжёлое пальто с бархатным отворотом. Теперь на крючьях уныло держались шинель Петровича и выцветшая женская шаль. В углу стоял дубовый сундук, а на нём медный таз, потемневший до зелени. Когда-то в него сбивали снег с валенок; мальчиком Павел любил смотреть, как белые комья быстро оседают, превращаясь в серую воду.

Из глубины дома донёсся голос:

— Кто там, Петрович?

Голос был женский, дребезжащий, но командовать он не научился.

— Павел Андреевич приехали, барыня.

Слово «барыня» прозвучало так, будто в доме ещё держался век, давно изгнанный из городских разговоров. Павел сразу понял: Александра Николаевна. Двоюродная сестра матери, потом приживалка, потом фактическая хозяйка, потом, когда все настоящие хозяйки умерли или исчезли, единственная власть, оставшаяся между домом и распадом.

Петрович кивнул на коридор.

— Идите, Павел Андреевич. Я тут пока с вещами.

Павел пошёл.

Коридор встретил его прежней темнотой. Потолки, слишком высокие для человеческого голоса; зелёные двери с облупившимися углами; ковровая дорожка, истёртая посередине до грубой основы. В детстве по этому коридору нельзя было бегать. Нельзя было хлопать дверями. Нельзя было смеяться слишком громко: отец отдыхает, отец пишет, отец занят, отец не любит шума. Теперь отец умирал за одной из этих дверей, но дом всё ещё держал сына в том же послушании: Павел поймал себя на том, что ступает осторожно, почти виновато.

Слева была столовая. Он заглянул туда машинально — как проверяют, цел ли после пожара предмет, который не имеет цены, но почему-то важен. Большой дубовый стол стоял под суконной скатертью, потемневшей от времени. На нём были тарелки с тонкими трещинами, ножи с костяными ручками, графин с мутной водой и серебряная солонка в виде лодочки. Кресла отодвинуты неровно: кто-то недавно вставал и не вернул их на место. Столовая казалась не комнатой, а прерванной фразой. Здесь ещё пытались обедать, но уже начинали ждать наследников.

— Это ты, Пашенька?

Уменьшительное имя застало его врасплох. В городе он давно стал Павлом Андреевичем, хозяином лавки, человеком, к которому приходят за редкими изданиями и советом. Здесь одно старое «Пашенька» сняло с него пальто, возраст, ремесло, годы молчания — и оставило мальчика с пятном чернил на рукаве.

Он вошёл в гостиную.

Александра Николаевна сидела в кресле у печи, прямая, сухая, будто сама была частью старой мебели. Седые волосы стянуты в тугий узел, чёрное платье застёгнуто высоко, кружевной воротник пожелтел, но лежал безупречно. Лицо её истончилось, кожа стала тонкой, бумажной; только глаза, водянистые теперь, всё ещё умели оценивать человека целиком: пальто, руки, голос, то, о чём он молчит.

— Здравствуйте, тётя.

Он наклонился к её руке. Рука была холодная, лёгкая, но подана была с прежним достоинством.

— Ну вот, дождались, — сказала она. — Отец твой каждый день спрашивал: придет или нет. Я говорила: придет, куда денется. А он всё не верил. Теперь, может, успокоится.

Ни упрёка, ни ласки — сухая запись в семейной книге.

Она указала на кресло напротив.

— Сядь на минуту. Прежде чем к нему идти, слушай. Он не такой, каким ты его помнишь. Иногда голова ясная, иногда путается. Тебя узнает, но может назвать чужим именем. Не сердись. Старость имена переставляет, как горничная чашки в буфете: всё вроде на месте, а рука тянется не туда.

— Что говорят врачи?

— Врачи? — Она поморщилась. — Врачи говорят то, что умеют: сердце слабое, возраст, беречь. А что тут беречь, когда человек всю жизнь сам себя не берёт? Может день, может неделю. Может, Бог даст больше. Я думаю, он тебя ждал. Бывает, душа держится за одно дело, как рука за перила. Сделает — и отпустит.

Павел ничего не ответил. Ему показалось, что в этой суровой женщине жалости больше, чем она позволяла себе показать; только жалость её была не мягкая, а хозяйственная, как чистая простыня у постели больного.

— Останешься? — спросила она.

— Сколько нужно.

Она посмотрела внимательнее. Взгляд задержался на его руках — не барских, не праздных, с маленькими следами клея у ногтей, с сухими подушечками пальцев, привыкших к бумаге, коже, переплётной нити.

— Книжник теперь, — сказала она не то с насмешкой, не то с признанием. — Лавка у тебя в столице?

— Да. Закрыл на несколько дней.

— В мать пошёл. Она тоже больше с бумагами умела, чем с людьми. Сядет в библиотеке у окна — и до вечера. Отец сердился: «Что ты ищешь в мёртвых страницах?» А она улыбалась. Будто знала, что страницы мёртвы только для тех, кто не умеет их слушать.

Павел поднял глаза.

— Она часто читала?

— Постоянно. У неё был угол в библиотеке, справа от окна в сад. Там свет падал ровно, не слепил. Она говорила: при таком свете слова не прячутся. Странная была твоя мать. Добрая и странная.

В доме о матери говорили редко. После её смерти она исчезла не сразу, а как исчезает запах духов из закрытого ящика: долго кажется, что он ещё есть, потом вдруг понимаешь — осталась только память о том, что он был. Павел знал её обрывками: лавандовый платок, тёплая ладонь на лбу, несколько писем, лицо на портрете, где художник написал не человека, а приличие. И вот теперь, от тёткиного голоса, мать на миг стала живой: сидит у окна, читает, улыбается чужому упрёку.

Александра Николаевна тяжело опёрлась на подлокотники, словно собиралась встать, но передумала.

— Ладно. Не будем слова по полкам расставлять. Иди к нему. Спальня наверху, та же. Только не жди от него того, чего он сам себе всю жизнь не позволял. Он упрямый. Боль многое выжигает, но упрямство, видно, у Волконских костяное.

Павел поднялся. У дверей он оглянулся: тётка смотрела ему вслед уже не строго, а устало, будто передала ему тяжёлую вещь и теперь ждала, удержит ли.

Лестница на второй этаж скрипела под каждой ступенью. Слева, в начале коридора, была его детская. Дверь стояла приоткрытой. Павел задержался, хотя понимал, что это задержка труса: легче заглянуть в прошлое сбоку, чем войти в комнату, где умирает отец.

Детская стала кладовой. На кровати, где он спал под материнским одеялом, лежали тюки белья. На столе, за которым он выводил первые буквы, стояли кувшины, миски, треснувшие блюда. На полу пахли сырой землёй ящики с картофелем. Комната не была оскорблена — просто использована. Дом не сохранял детство для того, кто сам от него отказался.

«Вот и всё», — подумал Павел. Но злости не было. Только тихая боль от простого закона: место, покинутое человеком, рано или поздно занимает хозяйство.

Он пошёл дальше.

Спальня отца сохранила прежний порядок. Тяжёлые шторы пропускали свет узкими полосами; две тумбочки под кружевными салфетками стояли по обе стороны кровати; над изголовьем висела картина с охотой. Её Павел боялся в детстве. Всадники, собаки, олень с вывернутой шеей и глазом, в котором художник с непонятным наслаждением написал ужас. Мальчиком Павел не понимал, зачем просыпаться под этой сценой. Теперь, увидев отца в постели под умирающим зверем, понял слишком многое и от этого понимания отвёл взгляд.

От кровати тянуло камфарой, горькими каплями, свежим льном и жаром больного тела. На стуле стояла миска с водой, рядом лежала губка. На тумбочке — стакан, деревянная ложка, тёмные пузырьки лекарств, очки в потёртом футляре. На спинке кресла висел домашний халат, вытертый по карманам; в детстве Павел боялся этого халата больше ремня, потому что в нём отец был не парадным господином, а домашним судом.

— Войди уже, — сказал с постели хриплый голос. — Раз приехал, нечего в дверях стоять. Я ещё не покойник.

Павел вошёл и притворил дверь.

Отец лежал высоко на подушках. Лицо его стало меньше, будто болезнь сняла с него всё лишнее: хозяйскую плотность, привычную самоуверенность, сердитую полноту щёк. Кожа желтела, губы пересохли, волосы, когда-то чёрные, были коротко острижены и почти совсем белы. Но глаза остались прежними — острыми, внимательными, неудобными. Они не просили жалости. Они проверяли.

Несколько секунд они смотрели друг на друга. Павел узнал этот взгляд: так он сам рассматривал найденные в лавке тетради — не веря, что перед ним подлинник, и боясь повредить его первым прикосновением.

Отец чуть усмехнулся.

— Похож.

— На кого?

— На мальчишку, который здесь дверями хлопал. И на себя самого, только постаревшего. Время, видно, и тебя не обошло. Ну, здравствуй.

Это «здравствуй» было сухим, почти будничным. Но в нём не было прежней колкости. Павел подошёл ближе, неловко остановился у кровати, не зная, что делать: подать руку, поклониться, наклониться к лицу. Отец сам приподнял ладонь. Жест вышел слабый, но всё ещё приказной. Павел осторожно взял эту руку. Она была горячая, сухая, с жёсткими пальцами и вздутыми жилами; рука человека, который много подписывал, мало ласкал и теперь уже не мог скрыть дрожь.

— Здравствуйте, отец.

Собственный голос показался ему мальчишеским.

— Садись. Не стой над душой. Отпевать меня рано.

Павел сел на стул у кровати. Некоторое время они молчали. Это было не то молчание, которым они жили много лет, холодное и удобное; это было молчание после вскрытой двери, когда видно всё, но ни один не знает, как войти первым.

Отец закашлялся. Кашель согнул его, выжал из лица остатки крови. Павел подался вперёд, но тот отмахнулся — жестом старым, злым и беспомощным сразу. Наконец приступ отпустил. Отец закрыл глаза, отдышался и, не открывая их, сказал:

— Вовремя ты. Я уж думал, не увижу.

— Телеграмма пришла вчера. Я закрыл лавку и выехал первым поездом.

— Верю. Ты если решил, то делаешь. Это, пожалуй, моё.

В этих словах не было похвалы, но и осуждения не было. Павел не сразу понял, что именно от этого они стали тяжелей.

На тумбочке лежали сложенные листы: записки, письма, может быть, распоряжения по имению. Очки рядом. Болезнь ещё не успела отнять у отца главного — привычки держать жизнь на бумаге, располагать её пунктами, подписями, сроками, будто смерть тоже можно вызвать в кабинет и заставить подождать в передней.

— Как лавка? — спросил отец. — Доход даёт?

Павел почти улыбнулся от неожиданности. Он ждал упрёка, тяжёлого вопроса, старого «зачем ты бросил дом». А услышал хозяйское: доход даёт? Отец, даже умирая, искал почву там, где её можно было потрогать пальцами: деньги, дело, счёт, польза.

— Живу. Богатым не стану. На хлеб, чай и книги хватает.

— На книги, — отец чуть прищурился; в глазах на миг сверкнула прежняя раздражённая искра. — Всё со своими книгами. Век на чужую бумагу положишь.

Он замолчал, прислушался к сказанному и вдруг махнул рукой.

— Ладно. Поздно тебя переучивать. Я свой выбор сделал, ты свой. Каждому своё.

Павлу показалось, будто в комнате тихо треснула старая балка. Вся их прежняя война держалась на том, что отец не признавал его пути путём. Ошибка, прихоть, городская дурь, блажь, предательство рода — как угодно, только не выбор. И вот теперь, когда спорить уже было почти некому, слово было произнесено просто, без великодушия, без просьбы о мире. Выбор.

— Я не о лавке приехал, — сказал Павел. Слова выходили трудно, как вещи из сундука, который долго не открывали. — И не о деньгах. Я хотел быть здесь. Пока есть время.

Отец посмотрел на него долго, больно внимательно.

— Время, — повторил он. — Теперь ты о времени заговорил. Помнишь, я тебе говорил: земля возвращается, деньги возвращаются, а время нет?

Павел помнил. В юности эти слова казались ему оправданием отцовской холодности: времени нет на разговоры, на прогулку, на письмо, на то, чтобы спросить сына, чем он живёт. Всё время уходило земле, счетам, управляющим, чужим прошениям. Теперь та же фраза вернулась другой стороной. Она больше не защищала отца. Она обнажала его.

— Мы могли бы поговорить, — осторожно сказал Павел. — О том, что было. Между нами.

Отец отвернулся к окну. За шторами бледнел осенний день.

— Не сваливай всё в одну кучу. Я ещё не умер. Если Бог даст, день-другой протяну. Поговорим. Не сейчас.

Он помолчал. Когда заговорил снова, голос стал тише.

— Сейчас мне надо знать одно: ты не сбежишь опять. Не хлопнешь дверью, как тогда. Будешь здесь.

Павел хотел сказать привычное: я не бежал, я выбирал. Но эта защита рассыпалась прежде, чем стала фразой. Он действительно бежал — от тяжёлых стен, от отцовского голоса, от собственной зависимости, от всего, что казалось ему клеткой. Только прожив годы среди чужих книг, он понял: из дома можно уйти, но нельзя заставить дом перестать говорить в тебе.

— Я здесь, — сказал он. — И останусь сколько нужно.

Отец кивнул и закрыл глаза. На миг Павел решил, что он уснул, но тот снова заговорил, почти не шевеля губами:

— В кабинете... на письменном столе бумаги. Письма. Твои, мои, её.

Последнее слово он произнёс так тихо, что оно скорее изменило воздух, чем прозвучало. Павел понял: материны.

— Когда сможешь, прочти. Там ты увидишь многое. Я за эти годы наговорил тебе больше тем, чего не сказал, чем тем, что сказал.

Эта фраза вошла в Павла сразу, без сопротивления: «наговорил тем, чего не сказал». Так иногда старая книга, раскрытая на случайной странице, вдруг оказывается точнее всех объяснений.

— А теперь иди, — прошептал отец. — Устал. Старость, она как плохой слесарь: всё расшатывает, а чинить не умеет.

Павел поднялся. Он понимал: ещё один вопрос сейчас был бы не участием, а насилием. Постоял у кровати, глядя на закрытые глаза отца, на руки поверх одеяла, на картину, где олень всё ещё умирал в своём бесконечном прыжке. Сердце сжалось и разжалось, будто только теперь училось биться рядом с этим человеком не от страха.

Он вышел тихо и прикрыл дверь.

В коридоре Павел прислонился к холодной стене. Всё смешалось: телеграмма, ночной поезд, запах камфары, тёткины слова о матери, горячая отцовская рука, лавка на Колокольной, снег, которого здесь ещё не было. Внутри стало пусто и тесно одновременно, как в комнате, куда внесли слишком много старых сундуков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.